

Насколько изменилась моя жизнь и насколько же, по сути, не изменилась! Как начну вспоминать да окликать времена, проведенные мной еще среди собачьего племени, в общих заботах, как и подобает псу среди псов, я, вглядываясь повнимательнее, нахожу, что дело тут с каких еще пор не во всем было ладно; что-то вроде трещинки имело место всегда, некая легкая оторопь брала меня иной раз и посреди почтеннейших площадных затей, а подчас и в самом узком, доверительном кругу – да чего уж там, не подчас, а часто, очень часто: помню, взглянешь эдак на родную собачью морду, неожиданно, по-новому взглянешь – и обомлеешь, ужаснешься, затоскуешь, запричитаешь. Я, конечно, старался эти чувства в себе истребить. Дружья, коим я открывался, мне в том помогали, и на время это удавалось, на то время, когда подобные казусы хоть и случались, но воспринимались мной хладнокровнее, с большим равнодушием вплетались мной в мою жизнь и хоть печалили и утомляли, но, впрочем, сохраняли за мной вид пусть холодноватой, замкнутой, пугливо-расчетливой, но в сущности обыкновенной собаки. Да и как бы смог я без таких периодов отдохновения достигнуть возраста, который ныне вкушаю, как бы смог я взобраться на такие кручи покоя, с которыми я взираю на ужасы своей молодости и с которым переносу ужасы своей старости, как бы смог я извлечь уроки из, вынужден признать, Несчастливого своего или не совсем счастливого положения и как бы смог я жить, ни в чем почти не отклоняясь от извлеченных уроков. Жить уединенно и одиноко, целиком отдаваясь своим безнадежным, но неизбывным исследованиям. Жить, впрочем, не теряя из виду свой народ – многие известия до меня доходят, да и сам я нет-нет да и напоминаю о своем существовании. Ко мне относятся уважительно, не понимают, как можно так жить, но и не обижаются на меня за то, что я так живу; и даже юные псы, пробегающие иной раз в отдаленье, – новое племя, чье детство скрыто от меня потемками памяти, – не отказывают мне в приветстве, полном почтения.

Нельзя упускать из виду и того, что я, невзирая на все мои очевидные необыкновенности, все же вовсе не полностью выбиваюсь из ряда. Вообще, если вдуматься, – а для этого у меня хватает и времени, и способностей, и желания – жизнь собачьего рода преисполнена чудесного. Помимо нас, псов, в мире много разновидностей всяких созданий, бедных, жалких, немых, издающих тупые звуки существ, и немало среди собак есть таких, которые эти существа изучают, дают им имена, стараются им помочь, воспитать, облагородить и прочее. Мне они, доколе они мне не мешают, безразличны, я их путаю, не замечаю. Одно в них, однако, слишком бросается в глаза, чтобы могло ускользнуть от моего внимания, а именно: насколько же они все сравнительно с нами, собаками, мало держатся друг друга, насколько они холодны, глухи и даже враждебны друг к другу, так что лишь самые пошлые интересы способны их несколько сблизить хотя бы внешне, но даже из этих интересов зачастую вырастает ненависть и ссора! Ничего подобного у нас, собак! Ведь о нас с полным основанием можно сказать, что мы на деле живем одной дружной стаей, хотя нас и различают бесчисленные и глубокие различия, образовавшиеся с течением времени. Мы все – одна стая! Нас так и подмывает сплотиться, и ничто не в состоянии противостоять этой воле к сплочению, все наши законы и основания – и те немногие, что я еще помню, и те несметные, что я забыл, – рождены этой тягой к величайшему счастью, на которое мы способны, счастьем теплой сопричастности друг другу. Но вот вам истины совсем иные. Никакие существа на свете, по моему разумению, не селятся на таких отдаленных пространствах, не отличаются друг от друга таким непостижимым количеством признаков – по классу, породе, роду занятий. Мы, желающие держаться вместе, – а в минуты экстаза нам это, вопреки всему, удается – как раз мы оказываемся всего больше удалены друг от друга, как раз мы предаемся нередко занятиям, своеобычность которых озадачивает и родню, и это мы подчас держимся правил, рожденных не в собачьей среде, то есть ей, скорее, противоположенных. Экие, право, сложности, сложности, коих не все любят касаться, – и я такую точку зрения понимаю, понимаю, может быть, лучше, чем свою, и все же ничего не могу с собой поделаться: это те сложности, без которых я своего существования не мыслю. Ах, зачем не живу я как все, единой жизнью с моим народом, зачем не закрываю глаза на то, что мешает такому единству, на то что можно бы счесть мелкими неточностями в великом расчете, зачем я вечно обращен не к тому, что сулит счастливые узы, а к тому, что тянет прочь из наезженной, кондовой колеи.

Вспоминается мне один случай из детства, когда я, как всякий ребенок, испытывал состояние неизъяснимо блаженного возбуждения; я был еще сущий щен, восторженный, любопытный, верящий в свою способность затевать великие дела, которые так и остались бы втуне, если б я не залаял, не вильнул хвостиком, не пустился вприпрыжку, – словом, я был в плену тех детских фантазий, которые с возрастом исчезают. Но тогда они были сильны и владели мной безраздельно, и вот однажды и впрямь случилось нечто необычайное, что по видимости оправдывало самые несусветные ожидания. То есть ничего необычайного в этом, конечно, не было, позднее мне довелось повидать на своем веку вещи куда более прихотливые, но тогда это стало первым таким впечатлением, а потому и особенно сильным, определяющим, неизгладимым. Дело состояло в том, что я встретился с небольшой собачьей компанией, то есть не то чтобы встретился, а она подошла ко мне. Я тогда долго бегал в темноте в предощущении необычайного – обманчивом, впрочем, ибо я испытывал его постоянно, – итак, долго бегал по темным чашрбам, вдоль и поперек, глухой и слепой ко всему, гонимый одной лишь смутной жадью чего-то, и вдруг замер на месте как вкопанный с таким чувством, что вот здесь я именно там, где мне быть надлежит; я огляделся – вокруг меня стоял пресветлый день, лишь слегка затянутый легкой дымкой, день, сотканный из переливчатых, одуряющих запахов. Я довольно нечленораздельно приветствовал утро, и вдруг – точно отзвываясь на мой рык – из неведомой тьмы под ужасающий шум, какого мне еще не приходилось слышать, выступило семеро собак. Если б я не видел с полной отчетливостью, что это собаки и что это они производят ужасный шум, хотя я не мог взять в толк, как это им удается, я бы немедленно убежал, а так я остался. В ту пору я еще ничего почти не знал о врожденной творческой музыкальности, свойственной собачьему племени, она до сих пор как-то ускользала от моей мало-помалу развивавшейся наблюдательной способности, тем паче что музыка с младенческих дней окружала меня как нечто само собой разумеющееся и неизбежно, ничем от прочей моей жизни не отделимое, и ничто не понуждало меня выделять ее в качестве особого элемента жизни, ничто и никто, если не считать кое-каких намеков со стороны взрослых, неопределенных, впрочем, намеков, снисходящих к детскому разумению; тем большее, прямо-таки ошеломительное впечатление произвели на меня эти семеро великих музыкантов. Они не декламировали, не пели, они в общем-то скорее молчали, в каком-то остервенении стиснув зубы, но каким-то чудом они наполняли пустое пространство музыкой. Все, и все в них было музыкой – даже то, как поднимали и опускали они свои лапы, как держали и поворачивали голову, как бежали и как стояли, как выстраивались относительно друг друга, взять хотя бы тот хоровод, который они водили, когда каждый последующий пес ставил лапы на спину предыдущего и самый первый, таким образом, гордо нес тяжесть всей стаи, или когда они сплетали из своих простертых по земле тел замысловатейшие фигуры, никогда не нарушая рисунок; даже последний в их ряду, тот, что был еще несколько не уверен, не всегда поспевал за другими, во всяком случае в зачине мелодии – даже его неуверенность была видна лишь на фоне великолепной уверенности других, и будь его неуверенность куда большей или вовсе полной, она и тогда ничего не смогла бы испортить там, где неколебимый такт держали великие мастера. Но мне не приходило в голову их разглядывать, вовсе не приходило. В душе я приветствовал их как собак, когда они вышли, ошеломил, правда, шум, их сопровождавший,

Но все равно ведь это были собаки, такие же собаки, как ты или я, и смотрел я на них привычно, как на собак, которых встречал всюду, смотрел, невольно желая подойти поздороваться, ведь это они, собаки, пусть значительно старше меня и не моей, не длинношерстной породы, но и вполне со мной соразмерные, мне привычные, таких или подобных я уже знал, встречал; однако пока все это проносилось у меня в голове, музыка усилилась, завладела пространством, по-настоящему захватила меня, заставила забыть обо всем на свете – и об этих живых собачках; как ни сопротивлялся я ей всеми силами, как ни выл, будто от боли, музыка, насилуя мою волю, не оставляла мне ничего, кроме того, что несло на меня со всех сторон, с высоты, из глубины, отовсюду сразу, что окружало и наваливалось, и душило, подступая в своем ярении так близко, что эта близость чудилась уже дальней далью с умирающими в ней звуками фанфар. Потом музыка снова отпускала, потому что ты чувствовал себя слишком измотанным, уничтоженным, утомленным, чтобы ее слышать, музыка отпускала, и ты снова видел, как семь прелестных собак водят свой хоровод, как они прыгают и резвятся, и тебе хотелось, хотя выглядели они надменно, их окликнуть, спросить о важном, узнать, что они делают здесь, но едва ты порывался это сделать, снова чувствуя сокровенную, кровную, славную собачью связь с этой семеркой, как вновь звучала музыка, доводила тебя до беспомысленности, заставляла кружиться волчком, словно ты и сам был не жертвой ее, а музыкантом, швыряла тебя туда и сюда, как ты ни молил о пощаде, пока она не спасла наконец от собственного своего гнета, сунув тебя головой в заросли, которых здесь было много, что я не сразу заметил, и заросли защемили голову так крепко, что это давало возможность прийти в себя, отдышаться, несмотря на отдаленные раскаты музыки. Поистине, больше даже, чем искусство семерых собак – а оно было мне непостижимо, было все вне пределов моих способностей и моего бытия – я поражался тому мужеству, с которым они открыто и дерзко противостояли производимым ими звукам, поражался той силе, которая для этих звуков нужна и которой, казалось, ничего не стоило сломать позвоночник. Правда, теперь присмотревшись из своего укрытия внимательнее, я понял, что то, чем они работали, было не спокойствие, а высшее напряжение; столь, казалось бы, уверенно ступающие ноги подергивала на самом деле непрерывная опасливая дрожь, и они то и дело взглядывали друг на друга почти с судорогами отчаяния, а энергично подтянутый язык норовил снова тряпкой вывалиться из пасти. Нет, не страх перед свершением приводил их в в такое волнение; кто отваживался на такое, кто достигал такого, тот не ведал страха. Откуда же этот страх? Кто понуждал их делать то, что они здесь делали? Я не мог больше сдерживаться в особенности потому, что каким-то непонятным образом они вдруг показались мне нуждающимися в помощи, и сквозь весь этот шум громко с вызовом выкрикнул им свои вопросы. Но – странное, странное дело! – они не ответили, они сделали вид, что меня не замечают. Собаки, даже не удостоивающие ответом собаку – нет, что угодно, но такое нарушение собачьего этикета не может быть прощено ни при каких обстоятельствах ни малому, ни большому псу. Может быть, это все-таки не собаки? Но как же не собаки, когда я, вслушиваясь теперь, различаю даже те негромкие восклицания, которыми они перебрасываются, подстегивая взаимное рвение, привлекая внимание к трудностям, предупреждая ошибки? И разве не вижу я, как последняя в их ряду маленькая собачка, к которой и относятся по большей части эти восклицания, все время косит глазом в мою сторону, подавляя очевидное, но, по-видимому, запретное желание ответить мне? Но почему оно запрещено, почему то, чего неукоснительно требуют наши законы, на сей раз оказывается под запретом? Возмущение настолько заполнило мою грудь, что я почти забыл и про музыку. Вот собаки, которые преступают закон. Пусть они даже величайшие чудесники, но закон существует и для них, это было совершенно ясно и моей ребячьей душе. А тут мне открылось и другое. У них действительно были все основания помалкивать, если они помалкивали, повинувшись чувству вины. Ибо как вели-то себя эти несчастные? Поначалу, из-за слишком громкой музыки, я не обратил на это внимания, но ведь они отбросили всякий стыд, докатились до такого неприличия и непотребства, как хождение на задних лапах, фу ты, какое канальство! Они обнажились, выставляя напоказ свои бесстыдства, и делали это намеренно, а когда порой чисто инстинктивно совершали естественные, добродетельные движения, например, смиренно опускали вниз передние лапы, то тут же испуганно одергивали себя, как будто совершили ошибку, как будто сама природа – это ошибка, снова вскидывали свои лапы, умоляя взорами простить их за погрешность невольной заминки. Не свихнулся ли мир? Где я? Что с нами случилось? Тут уж я, собственного благополучия ради, не мог долее терпеть; выпутавшись из цепких зарослей, вырвавшись из них последним рывком, я ринулся было к собакам, я, маленький ученик, должен был стать учителем, должен был объяснить им неприличие их поступков, удержать от последующих прегрешений. «И это взрослые собаки, взрослые собаки!» – повторял я про себя. Но едва стал я свободен, едва приблизился к ним на расстояние в два-три прыжка, как опять возник тот же шум, меня полностью оцепеневший. Быть может, в запале я бы нашел в себе силы ему сопротивляться, поскольку к нему уже по привычке, но тут к прежней его полноте, вполне ужасной, но не необоримой, прибавился новый, чистый, строгий, неизменно ровный, в совершенной неизменности и ровности издали долетающий тон, тот тон, который, собственно, и формировал мелодию из хаоса звуков и который поверг меня на колени. Ах, какую одуряющую музыку производили эти собаки. Я не мог сдвинуться с места, не мог рта раскрыть для поучений, пусть себе и дальше раскорячиваются, грешат и совращают других ко греху умильного созерцания; кто, кто мог требовать столь тяжелой ноши от меня, простой, маленькой собаки? И я как бы еще уменьшился в росте, сжался, как мог, завизжал, а если б после представления собаки спросили меня о моем мнении, я бы искренне их похвалил. Все длилось, впрочем, не так уж и долго, и вскоре они исчезли со всем своим шумом в той темной чашке, из которой и появились.

Повторяю: во всем этом происшествии не было ничего чрезвычайного, за длинную жизнь у всякого найдутся впечатления, которые, если извлечь их из общей связи событий да еще взглянуть глазами ребенка, покажутся куда более удивительными. К тому же на этот случай, как и на все вообще в жизни, можно посмотреть и, как справедливо говорится, «иными глазами», и тогда окажется, что просто-напросто семеро музыкантов сошлись помузицировать тихим утром и что заплутавший щенок, их невольный, но досадливый слушатель стал той помехой, которую они, к сожалению, тщетно попытались устранить особенно ужасной или возвышенной музыкой. Он мешал им своими вопросами, и неужели они, которым мешало уже и само его присутствие, должны были считаться с этой помехой и даже увеличивать ее, отвечая на его вопросы? И даже если закон повелевает отвечать каждому, еще вопрос, можно ли углядеть этого заслуживающего внимания каждого в ничтожном бродяжке. А может, они и не разобрали ни слова в том захлебывающемся твяке, с каким задавал он свои вопросы. Или, что также возможно, они вполне его поняли и, преодолев себя, снизились до ответа, а он, малыш, не привыкший к музыке, не смог отличить их ответ от шума. Что же до хождения на задних лапах, то, может, они и прошлись на них, в виде исключения, хотя и это предосудительно, и это грех, несомненно! Но ведь они были одни, эти семеро друзей, с глазу на глаз, почти можно сказать – в своих четырех стенах, почти можно сказать – наедине с собой, ибо друзья – это еще не общественность, а где нет общественности, там она не может появиться, если появился какой-нибудь приبلудный уличный щенок, с его любопытной мордой, то есть в нашем случае нельзя ли считать, что ничего и не случилось? Не совсем, конечно, но почти так оно и есть; родителям же, во всяком случае, надлежит получше следить за тем, чтобы малыши больше помалкивали да почитали старших, а не болтались почем зря где ни попадя.

А коли так, то и инцидент исчерпан. Правда, там, где он исчерпан для взрослых, детям далеко не все еще ясно. Я не мог успокоиться, всем рассказывал и всех спрашивал, жаловался, ко всем приставал, всех пытался тащить к тому месту, где это случилось, показать, где стоял я и где эти семеро, где и как они танцевали и музицировали, и если б кто-нибудь отправился со мной на место происшествия,

Вместо того чтобы отмахиваться от меня да высмеивать, я бы непременно изобразил, как все было, даже встал бы, жертвуя невинностью, на задние лапы. Что ж, ребенку каждое лыко ставят в строку, но зато все и прощают. Я же навсегда сохранил эту детскость в душе, с ней и состарился. Вот и тогда этот случай, которому, впрочем, теперь я не придаю такого значения, но тогда он долго занимал мое воображение, я со всеми его обсуждал, раскладывал по полочкам, примерял его к присутствующим в данный момент, невзирая на то, кто именно присутствовал, целиком занимаясь самим делом, которое меня, как и других, тяготило, но – и в этом была разница – которое я пытался без остатка растворить, утопить в своих исследованиях, чтобы освободить наконец душу для самой обычной, спокойной, счастливой повседневности. Точно так же, как и тогда, хотя и не столь детскими средствами, – но разница не очень-то велика – я работал и в последующие годы моей жизни да, собственно, работаю и теперь.

С того концерта все и началось. Нет, я не жалею, не сожалею, тут ведь сказались моя собственная природа, которая, не случись этого концерта, несомненно, нашла бы другую возможность себя обнаружить. Я порой сожалел лишь о том, что это произошло так рано, что у меня была похищена таким образом значительная часть детства, та блаженная пора юных собачьих лет, которая у иных собак растягивается на годы и годы, а у меня промелькнула за несколько месяцев. Но и это пустяки. Есть вещи поважнее, чем детство. И кто знает, быть может, под старость, в награду за суровую жизнь, мне еще улыбнется куда более детское счастье, чем то которое посылно ребенку и для которого у меня накопятся силы.

Я начал в ту пору свои исследования с самых простых вещей, в материале недостатка не было, нет, как раз переизбыток материала – вот что приводит меня в отчаяние в смутные часы. Для начала я решил исследовать вопрос о том, чем питается собачье племя. Вопрос, если угодно, не из простых, верно и то, что он занимает нас с древнейших времен, это коренной вопрос нашей мысли, развитой и подкрепленной в бесчисленных опытах наблюдений и версий, из коих сложилась целая наука, которая в своих непостижных параметрах и притязаниях давно уже превзошла возможности всех отдельно взятых ученых и в своей целокупности может быть воспринята лишь всем собачеством совокупно, да и то воспринята в откровенных стенаниях и частично, ибо всякие новые усилия и тщания неизбежно оседают в бездонных кладях уже добытых знаний; такова увы, судьба и столь трудоемких и вряд ли осуществимых в полном объеме исследований, каковы мои собственные. Все это не нужно мне тыкать под нос, все это я и сам знаю не хуже какого-нибудь заурядного пса, и мне не приходит в голову претендовать и место среди светил настоящей науки, для этого я слишком ее почитаю, как и всякому подобает, но для того, чтобы приумножить ее достижения, мне недостает как знаний, так и усердия и терпения, а с некоторых пор и в особенности азарта. Я проглатываю наспех еду, не достаивая ее предварительного и сколько-нибудь систематизированного в сельскохозяйственном отношении созерцания. Мне в этом случае довольно той нехитрой суммы всякого знания, того маленького правила, коим матери напутствуют в жизнь малышей, отрывая их от груди: «Смачивай все по возможности». И разве не содержится в этом выводе почти все? Чем таким существенным дополнила его исследовательская наука, начиная с праотцов? Частности, одни только частности, да и какие шаткие. А вывод незыблем, покуда мы, псы, существуем. Он касается самых основ нашего питания. Разумеется, возможности наши в этом плане велики, но на худой, крайний конец, чтобы ни случилось, мы всегда можем прибегнуть к основам. Основные компоненты своей еды мы обретаем на земле, земля же нуждается в нашей воде, питается ею, и лишь за эту цену она дает нам пищу, производству которой, правда, об этом не следует забывать, можно и споспешествовать определенными заклинаниями, песнопениями, телодвижениями. Вот, с моей точки зрения, и все; об этой стороне дела в принципе больше нечего сказать. Здесь я целиком солидарен с собачьим большинством и полностью отвергаю всевозможные еретические воззрения на сей счет. В самом деле, я вовсе не стремлюсь выделиться, настоять на своем, я счастлив, когда могу разделять взгляды моих соотечественников, а по данному вопросу они совпадают. Но собственные мои предприятия идут в ином направлении. Очезримый опыт учит меня, что земля, если ее взрыхлять и обрабатывать по всем предписаниям науки, непременно произведет пищу, а именно того качества, в том количестве, того вида, в том месте и в тот час, как того опять-таки требуют частично или полностью установленные наукой законы. С этим не спорю, но спрашиваю о другом: «Откуда земля-то берет эту пищу?» Все делают вид, что не понимают вопроса, и в лучшем случае отвечают: «Если тебе не хватает еды, мы тебе дадим от своей». Стоит обратить внимание на этот ответ. Кто же не знает, что отдавать ближнему однажды добытую еду – далеко не первая среди собак добродетель. Жизнь трудна, земля скудна, наука хоть и богата познаниями, но достаточно бедна практическими успехами; и уж у кого есть еда, тот за нее держится; и не своекорыстие это, а, напротив, сам собачий закон, самое единодушное народное уложение, вызванное к жизни как раз преодолением себячества, ибо имущие всегда находятся в меньшинстве. Поэтому вошедший в поговорку ответ: «Если тебе не хватает еды, мы тебе дадим от своей» – это дразнящая шутка. Я это помнил. Но тем более значительным было для меня – в го– ды, когда я еще приставал ко всем со своими вопросами, – то обстоятельство, что в обращении со мной это как бы и переставало быть шуткой; не то чтобы мне действительно давали еду, да и откуда она тут же возьмется, а ежели она и подворачивалась случайно, то в горячке голода нетрудно забыть о словах и обо всем на свете, но эти слова говорились мне вроде бы и всерьез, а порой вслед за предложением на словах мне и в самом деле перепадала какая-то мелочь, если, конечно, я оказывался достаточно расторопным и успевал эту мелочь урвать. Отчего же было ко мне такое особенное отношение – предпочтительное и щадящее? Оттого ли, что я был тощ и слаб, всегда плохо кормлен и мало озабочен прокормом? Но разве мало бегают кругом плохо кормленных собак и разве не вырывают у них из пасти и последнее, где только могут, повинувшись часто не жадности, но закону. А вот меня выделяли, ко мне снисходили; привести тому внятные доказательства я бы не мог, но общее впечатление такое у меня было. Может, все радовались моим вопросам и находили их необыкновенно умными? Нет, вопросам моим не радовались и считали их глупыми. И все же только благодаря этим вопросам я мог рассчитывать на внимание. Было похоже, что все соглашались и на самое неслыханное, на то, чтобы заткнуть мне рот едой, лишь бы не слышать мои вопросы. Но ведь легче было просто прогнать меня, избавившись таким образом от моих вопросов. Нет, этого как раз не хотели: слушать мои вопросы не хотели, но как раз из-за этих моих вопросов не хотели и меня прогонять. Надо мной смеялись, со мной обращались, как с глупым зверенышем, мной помыкали, но в то же время то была пора самого большого за всю мою жизнь признания, пора, которая больше уже никогда не повторилась; я был всюду вхож, мне ни в чем не отказывали, а если обходились порой грубо, то это лишь льстило моему самолюбию. И все это было следствием одних лишь моих вопросов, моего нетерпения, моей исследовательской страсти. Может, меня хотели убаюкать, не прибегая к насилию, одной лаской хотели увести меня с несправедного пути, с пути, несправедность которого была, однако, не столь очевидна, чтобы можно было применить насилие? Известный почтительный трепет тоже ведь удерживает подчас от применения насилия. Я и тогда уже смутно догадывался об этом, а теперь знаю это твердо, много тверже, чем те, кто в пору моей юности обладал властью; так и есть, меня хотели попросту сманить с моего пути. Это не вышло, получилось прямо противоположное, бдительность моя обострилась. Более того, у меня возникло чувство, что это я сманиваю других и что это мне в какой-то степени даже удается. Лишь собачья среда открывала мне смысл собственных моих вопросов. Если я, например, спрашивал: «Откуда земля берет эту пищу?», то был ли я, как это может показаться, озабочен проблемами земли, ее нуждами? Ничуть не бывало, все это, как я скоро понял, было мне

глубоко безразлично, меня интересовали только собаки и ничто больше. Да и что есть в мире, кроме собак? Кого еще можно окликнуть на этой обширной и пустынной земле? Все знание, совокупность всех вопросов и ответов сосредоточена в нас, собаках. Ах, если бы только реализовать это знание, вытащить его на божий свет из потомков, если бы самим себе отдавать отчет в том, какими бесконечными знаниями мы владеем – куда более бесконечными, чем мы смеем себе в этом признаться. И самый красноречивый пес более замкнут, чем те потаенные места, в которых обыкновенно хранится лучшая пища. Сколько ни охаживай ближнего своего, сколько ни истекай слюной, упрашивая, умоляя, воя, кусаясь, все равно достигнешь лишь того, что мог взять и без всяких усилий: тебе любезно внимают, тебя дружески похлопывают, почтительно обнюхивают, мысленно прижимают к сердцу, с тобой согласно воют, сливая восторги, беспамятства и прозрения, но как только дело доходит до того, к чему ты прежде всего стремишься – чтобы с тобой поделились знаниями, то на этом все и кончается, тут и вся дружба врозь. На такие просьбы, немо ли, громко ли заявленные, отвечают в лучшем случае поджиманием хвоста, скашиванием взгляда или отводом в сторону взгрустнувших глаз. Все это слишком похоже на то, как я тогда ребенком окликнул псов-музыкантов, а они промолчали в ответ.

Тут, конечно, можно бы сказать: Вот ты все жалуешься на собратьев, на их скрытность в вопросах, касающихся важнейших вещей, ты утверждаешь, они знают больше, чем в том признаются, больше, чем то, чем они руководствуются в жизни, и это умолчание, о причине и тайне которого они, разумеется, также умалчивают, отравляет тебе жизнь, делает ее невыносимой, так что тебе следовало бы переменить жизнь или расстаться с нею; все это, может быть, верно, но ведь и ты такой же пес, как и прочие, и, стало быть, владеешь общим песьим знанием, вот и выяви его, да не в форме вопроса, а в форме ответа. Разве кто-нибудь станет тебе возражать, если ты сделаешь это? Да весь собачий хор немедленно поведет себя так, будто только того и ждал. И будут у тебя тогда истины, ясности, признания, сколько захочешь. Темница низменной жизни, о которой ты с таким прискорбием рассуждаешь, отверзнется, и все мы стройными собачьими рядами выйдем на свободу. А ежели этого последнего не случится, ежели станет нам хуже прежнего, ежели выяснится, что вся истина невыносимее ее половины, ежели подтвердится, что умалчивающие о ней правы, ибо своим умолчанием сохраняют нам жизнь, ежели открытие твое обратит тихую надежду, которую мы еще питаем, в полную безнадежность, то все равно твой опыт будет оправдан, раз ты не хочешь жить так, как живешь. Итак, почему же ты других упрекаешь в молчании, а сам молчишь? Ответ прост: потому что и я собачий сын. А стало быть, в основе своей, как и прочие сыны рода сего, накрепко замкнут, глух и к собственному вопрошанию, из страха суров. Затем ли, если вдуматься, вопрошаю я собачье племя, по крайней мере с тех пор, как я стал взрослым, чтобы оно мне ответило? Предаюсь ли таким глупым обольщениям? Неужели, взирая на самые основания нашей жизни, догадываясь о ее глубине, глядя хотя бы на рабочих, занятых строительством, этим угрюмым трудом, неужели я все еще ожидаю, что, услышав мои вопросы, они немедленно забросят свою стройку, разрушат, покинут ее? Нет, такого я, видит бог, давно уже не ожидаю. Я их понимаю, я одной с ними крови, этой бедной, вечно юной и неумной крови. Но не только кровь у нас общая, но и знание, и не только знание, но и ключ к нему. Один, без других, без их помощи, я ничем не владею: железоподобные кости, содержащие благороднейший мозг, можно разгрызть лишь соединенными усилиями всех зубов всех собак. Это, конечно, образ, содержащий преувеличение; будь собраны воедино все зубы всех различных собак, кость не пришлось бы и разгрызать, она сама бы раскрылась, и лакомый мозг стал бы доступен оскалу и самой паршивенькой собачонки. И если уж удержаться этого образа, то нужно признать, что мои намерения, мои вопросы, мои исследования устремлены к чему-то неслыханному. Я как бы хочу использовать это всеобщее собрание собак для того, чтобы под давлением их готовности к разгрызанию кость сама бы раскрылась, после чего я отпустил бы собак назад, к той жизни, которая так им мила, остался бы один, один-одинешенек, наедине с костью, и в одиночку впился бы и высосал мозг. Это звучит чудовищно и выглядит почти так, будто я хотел бы насытиться не одним только костным мозгом, но мозгом всего собачества. Но ведь это лишь образ. Мозг, о котором я веду здесь речь, это не пища, а нечто противоположное – это яд.

Своими вопросами я растрываю только себя и только себя раззадориваю тем молчанием, которое со всех сторон подступает ко мне в виде ответа. Сколько можно терпеть то обстоятельство, что собачье племя молчит и всегда будет молчать, как легко убедиться в процессе его неусыпного изучения? Насколько тебя хватит – вот вопрос самой моей жизни, стоящий над всеми отдельными вопросами: этот вопрос обращен лишь ко мне и никому, помимо меня, не в тягость. К сожалению, ответить мне на него легче, чем на отдельные вопросы. Меня, надо полагать, хватит до естественного конца моей жизни, ибо преклонный возраст с большим спокойствием воспринимает и самые беспокойные вопросы. Умру я, по всей вероятности, молча, окруженный молчанием, в общем-то покойно умру, и я думаю об этом уже и теперь с большим самообладанием. На диво сильное сердце, не снашиваемые до срока легкие – вот что придано, словно в насмешку, собакам, дабы мы могли долго противостоять всем вопросам, в том числе и собственным. Нерушимая крепость молчания, вот мы кто.

Все чаще и чаще озирая в последнее время свою жизнь, я ищу ту решающую, ту во всем виноватую ошибку, которую, может быть, некогда совершил, – и не могу отыскать ее. А ведь я, наверное, ее совершил, ибо, если б не так, если б безошибочным путем идя всю свою жизнь, я все же не достиг того, что хотел, то это было бы верное доказательство, что хотел я невозможного, а уж отсюда следует торжество полной безнадежности. Взгляни на свершение дней твоих! Вначале были исследования вопроса: откуда земля берет для нас пищу? Юный пес, вполне, как и полагается, жадный к жизни, я отказался от всех наслаждений, за версту обегая любые удовольствия, закрыл голову лапами от соблазнов и весь отдался труду. То не был научный труд, если судить о том, что касается эрудиции, метода или целей, то были, вероятно, ошибки, но вряд ли сплошные, решающие ошибки. Я мало учился, так как рано оторвался от матери, быстро привык к самостоятельной жизни, свободе, а слишком ранняя самостоятельность противопоказана систематической учебе. Но я много видел, слышал, много вел разговоров с собаками самых различных пород и профессий и, как я полагаю, сумел из этого немало извлечь, сумел связать воедино отдельные наблюдения, что и восполнило мне отчасти недостающее образование; а кроме того, самостоятельная жизнь, являющаяся для учения несомненным недостатком, представляет для пытливого исследователя определенные преимущества. В моем случае она была тем более необходимой, что я не мог следовать собственно научной методе, то есть не мог использовать работы предшественников и вступать в контакт с современными исследователями. Я был полностью предоставлен самому себе, начал с самых азав и с пониманием – окрыляющим в юности и удручающим в преклонные лета пониманием – того, что и случайный вывод, к коему я приду, окажется выводом окончательным. А на самом ли деле я так одинок в своих исследованиях, прежде и теперь? И да, и нет. Нельзя ведь исключать того, что отдельные псы там и сям оказывались или оказываются в моем положении. Не такой уж я в конце концов выродок в роду собачьем, не так все скверно. Каждый пес, как и я, испытывает потребность в том, чтобы задавать вопросы, а я, как и каждый пес, испытываю потребность в том, чтобы молчать. Каждый испытывает потребность в том, чтобы спрашивать. В противном случае разве смог бы я вызвать те легчайшие потрясения и колебания эфира, наблюдать которые – не без восхищения наблюдать, не без преувеличенного, признаю, восхищения – мне было все же дано; и разве, с другой стороны, не достиг бы я неизмеримо большего, будь я скроен иначе. А то, что я испытываю потребность в молчании, не нуждается, к сожалению, в дополни-

данных доказательств. Таким образом, я, в принципе, не отличаюсь от прочих собак, потому-то при любой разнице мнений или же неприязни меня, в сущности, признает любая собака, как и я, со своей стороны, не премину сделать с ней то же. Различны лишь в пропорции исходных веществ, что весьма существенно в личностном, но не имеет значения в этническом плане. И что же, искомая пропорция так никогда и не приблизилась к моей ни в прошлом, ни в настоящем? Или даже, если признать мой состав неудачным, ни разу не превзошла его в неудачности? Это противоречило бы всякому опыту. Нет такого, пусть и самого чудного дела на свете, коим не занимались бы мы, собаки. Есть такие занятия, что и не поверил бы никогда, если б не самые достоверные сведения. Мой любимый пример – воздушные собачки. Когда я впервые услышал о таком способе жить, я рассмеялся, я отказался поверить. Нет, каково? Чтобы существовала крохотных размеров собачонка, не больше моей головы, и в зрелом возрасте не больше, и чтобы этакая А штучка, разумеется, хилая, по виду своему недоразвитая, декоративная, вся причесанная-распричесанная, не способная по-доброму прыгнуть, чтобы этакая тля могла, как рассказывают, подолгу пребывать в поднебесье, именно пребывать, то есть нежиться, без всяких видимых усилий? Нет, внушать мне такое значило, как я понял, слишком уж откровенно пользоваться простодушной необремененностью юного ума. Но вот и в другом месте мне рассказали о другой такой же воздушной собачке. Что они все, сговорились разыграть меня? Однако вскоре затем я повстречал моих музыкантов, и уж с тех пор считал возможным все, отбросив всякие стесняющие разумение предрассудки, с тех пор я клонил ухо и к самым нелепым слухам, жадно интересовался ими, вникал, все нелепое стало казаться мне куда более вероятным в этом нелепом мире, чем все разумное, а уж для моих исследований куда более золотоносным. Так было и с воздушными собачками. Я собрал о них массу сведений; правда, мне так и не удалось до сих пор повидать хотя бы одну, но в их бесспорном существовании я давно уже убедился, и в моей картине мира они занимают свое, неотъемлемое место. Как и во многих других случаях, поражает здесь не само искусство, поражает другое. Кто же станет отрицать, вполне удивительно то, что такие, парящие в воздухе собачки действительно существуют, тут уж мое удивление вливается в удивление всего собачества. Но еще удивительнее, на мой вкус, нелепость, сама молчаливая нелепость их существования. Да она никак и не обосновывается, они парят себе в воздухе, и баста, а жизнь идет себе мимо, так, вспыхнет кое-где разговор об этом искусстве, ну и весь сказ. Но почему, любезнейшие собаки, почему висят они в воздухе? Какой смысл в этом занятии? Почему ни единым словом не оправдывают они его. Зачем возлежат они на верхотуре, обрекая на исхиление свои ноги, собачью гордость, в отрыве от земли-кормилицы, зачем не падают и не жнут они, а вместо того получают, даже по слухам, особенно обильный паек от соплеменников? Я льщу себя тем, что, задаваясь подобными вопросами, я все же всколыхнул немного общественность. Появляются первые обоснования всего этого, скороспелые, неуклюжие обоснования, которые, к тому же, не разовьются, так и останутся на стадии зародыша. Но и это уже кое-что. И пусть не проясняется при сем лик истины – до этого не дойдет никогда, – но и заблуждение уже не будет чувствовать себя так уютно и самодовольно. Дело в том, что любые нелепости нашей жизни легко можно обосновать, и чем нелепее нелепости, тем обосновать их легче. Не до конца, разумеется, – в том-то и чертовщина, – но в достаточной степени, чтобы снять всякие каверзные вопросы. Да хоть снова взять для примера тех же воздушных собачек: они вовсе не так надменны, как может показаться на первый взгляд, более того, они-то особенно дорожат мнением своих соплеменников, и если поставить себя на их место, то это можно понять. Должны ведь они как-то каяться, ведя такой образ жизни, и хотя они не могут сделать этого публично, – что явилось бы нарушением обета умолчания, но покаяться или по крайней мере добиться забвения своих прегрешений они должны, да они и делают это – в пренеприятной, как я слышал, манере оголтелой болтливости. Все-то их подмывает чем-нибудь поделиться – то своими философскими размышлениями, коим они, отказавшиеся от каких-либо телесных усилий, могут предаваться всецело, то наблюдениями, производимыми с возвышенной точки зрения. И несмотря на то, что они, в силу условий фривольной жизни, не обременены избытком духовных сил и философия их столь же никчемна, как и их наблюдения, а наука вряд ли может воспользоваться тем и другим, да и вообще она вправе пренебречь столь жалкими показаниями, несмотря на все это, кого ни спроси, в чем же состоят стремления воздушных собачек, всякий раз получишь в ответ, что они много способствуют процветанию наук. «Все это верно, – скажешь в ответ, – но ведь вклад их в науку никчем и неудобоварим». На что уж непременно пожмут плечами, переведут разговор на другое, рассердятся или рассмеются, а станешь допытываться подробнее, снова получишь в ответ, что они способствуют процветанию наук и в конце концов, если будешь настаивать и даже выходить из себя, все равно ответ будет тот же. Да, может, оно и к лучшему – не упрямяться, а смиряться и если уж не признавать правомочность жизненного уклада воздушных собачек, что невозможно, то хотя бы его терпеть. Но большего-то от нас нельзя требовать, это уж было бы слишком – а ведь требуют. Требуют терпеть все новых и новых восстающих в выси собачек. Никто толком не знает, откуда они берутся. Размножаются они там, что ли? А откуда у них на то силы, ведь в них только и есть, что красивая шкурка, где уж тут размножаться? И даже, если допустить невероятное, когда бы это могло происходить? Ведь их всегда видят поодиночке, повисшими в самоупоенном блаженстве в воздухе, а если они иной раз и снисходят до передвижения, то длится это самое пренедолгое время, пара отмеренно-изысканных шажков, не больше, и все это опять-таки в строгом одиночестве и якобы в глубокой задумчивости, от которой они, по их уверениям, не могут отрешиться, сколько бы ни пытались. Но если они не размножаются, то возможно то, что находятся собаки, добровольно отрекающиеся от наземной жизни, добровольно избирающие эту стезю, чтобы ради немногих удобств и пустячной ловкости вести столь унылую жизнь на преднебесных подушках? Все это невозможно себе помыслить – ни их размножение, ни добровольное присоединение к ним. Действительность, однако, показывает, что воздушные собачки отнюдь не исчезают; из какового обстоятельства следует заключить, что, как ни бессилен наш разум это постигнуть, та или иная разновидность собак, уж коль скоро она существует, не вымирает, во всяком случае не вымирает легко, во всяком случае не вымирает совсем, не оставляя хоть какого-нибудь потомства.

Не должен ли я отнести и к собственной разновидности все то, что пристало говорить о воздушных собачках с их странными, бессмысленными, внешне экстравагантными, неестественными обыкновениями? При этом внешне-то я ничем и не выделяюсь, так, обыкновенная заурядность которых – во всяком случае в здешних местах – превеликое множество, не отмечен ничем выдающимся, но и ничем, что заслуживало бы презрения, а в молодости, да еще и в зрелые годы, я, если только не слишком пренебрегал собой и много двигался, был пес достаточно видный. Хвалили в особенности мой фас, стройные ноги; красивую постановку головы, да и шерсть моя, серо-желтая в белых пятнах, вьющаяся только на самом конце, вызывала всегда одобрение. Во всем этом, однако, ничего нет особенного, особенным можно признать лишь мой духовный склад, но и он, что уж никак нельзя упускать мне из виду, вполне укоренен в общих свойствах собачьего племени. Ведь если даже воздушные собачки не остаются в одиночестве, а вновь и вновь получают пополнение из собачьего мира, черпая юную смену иной раз словно бы из ничего, то мне и подавно можно жить в уверенности, что я существо не потерянное. Разумеется, товарищи мои по типу должны быть псы особой судьбы, и их существование никогда не принесет мне видимой пользы, уж по одному тому хотя бы, что я вряд ли когда-нибудь их узнаю. Мы те, на кого давит молчание, кого мутит от недостатка воздуха, другим-то, похоже, хорошо живется в молчании, хотя это все одна только видимость, подобно тому, как псы-музыканты внешне музицировали совершенно спокойно, но в действительности были крайне возбуждены; однако видимость эта сильна, непреступна, она лишь посмеивается, сколько на нее ни покушайся. Как же справляются с существованием товарищи мои по виду? Как

выглядят их попытки выжить, несмотря ни на что? Вероятно, по-разному. Я вот пытался добиться этого вопроса, пока был молод. Таким образом, я, вероятно, мог бы примкнуть к тем, кто много спрашивает, они-то и были бы тогда моими товарищами по виду. Какое-то время я, преодолевая себя, и тшилсь преуспеть в этом, – преодолевая себя, ибо меня привлекают прежде всего те, кто призван давать ответы, те же, кто вечно пристает ко мне с вопросами, на которые у меня по большей части нет ответа, мне противны. Да и потом, кто же не любит спрашивать, покуда он юн, и как же отыскать мне истинные вопросы в этом обилии? Один вопрос похож на другой, все дело в цепи вопроса, а она остается скрытой, порой и от самого вопрошающего. Да и вообще, задавать вопросы – это коренное свойство собачьего племени, спрашивают все кому не лень, будто нарочно, чтобы замести следы истинных вопросов. Нет, среди вопрошающих юнцов не нахожу я единомышленников, как, впрочем, и среди пожилых молчунов, к которым принадлежу сам. Но что толку в вопросах, я ведь на них погорел, товарищи мои, может быть, умнее меня и применяют другие, более совершенные средства, чтобы справиться с тяготами жизни, средства, которые, правда, – как я заключаю по собственным, – хотя и помогают им в их нужде, успокаивают, усыпляют, переделывают их натуры, но в сущности-то так же бессильны, как и мои, ибо, сколь пристально ни всматриваюсь я окрест, никакого заметного успеха ни у кого я не вижу. Боюсь, товарищей моих легче было бы распознать по какому-нибудь другому признаку, только не по успеху. Но где же, где они, мои товарищи? Да, я жалуясь, жалуясь, если угодно. Где они? Везде и нигде. Может, то мой сосед, всего в трех прыжках от меня, нередко мы перекрикиваемся, он ко мне иной раз и заходит, я к нему никогда. Может, он мой товарищ по виду? Не знаю, я, правда, ничего такого в нем не замечаю, но все может быть. Все может быть, но и нет ничего более невероятного. Нет его – и я, напрягая шутки ради фантазии, расцвечивая подмеченные мною в нем родственные черты, но вот он явился – и все мои построения разом выглядят смешотворно. Старый пес невелик собой, еще меньше меня, хотя я весьма среднего роста, он с короткой коричневой шерстью, с усталой повешенной головой, с шаркающей походкой, с подбитой сверх того левой лапой. Так близко, как с ним, я давно уже ни с кем не сходилась и я рад, что хоть его-то могу еще кое-как выносить, и когда он уходит, я кричу ему вслед кучу всяких любезностей, но я делаю это без всякой любви, скорее гневаясь на себя, ибо, глядя ему вслед, я всякий раз обливаюсь ненавистью и к этой шаркающей походке, и к волочащейся лапе, и к слишком низкому задку. Иногда мне кажется, что мне хочется поиздеваться над самим собой, – когда я мысленно называю его своим товарищем. Да и в разговорах наших он не вызывает ничего, что позволяло бы считать его товарищем, он, правда, умен и, по нашим здешним обстоятельствам, весьма образован, я бы мог многому у него научиться, но разве я ищу ума и образования? Обычно мы беседуем о житейских делах, и я, умудренный своим одиночеством, всякий раз поражаюсь тому, сколько же ума требуется и от самой обычной собаки, живущей даже не в самых неблагоприятных обстоятельствах, чтобы пристойно изжить свой век и спасти себя от поджидающих на каждом шагу величайших опасностей. Конечно, наука вырабатывает соответствующие правила, однако понять и усвоить их хотя бы отдаленно, хотя бы в самых грубых чертах ох как непросто, а если это даже и удалось, то тут и начинается самое трудное, а именно: применение общих правил к нашим обстоятельствам. И здесь мало кто может помочь, почти всякий час задает новые задачи, и каждый клочок земли выдвигает свои собственные; и никто не может утверждать, что он устроил свою жизнь сколь-нибудь надежно и что она теперь потечет как бы сама собой; даже я не могу этого утверждать, невзирая на то, что потребности мои сокращаются день ото дня. И для чего же они, в конце концов, все эти бесконечные усилия? Только для того, чтобы все глубже и глубже зарыться в молчание, погresti себя так, чтобы никто и никогда не мог тебя раскопать.

Нередко приходится слышать славословия по адресу общего прогресса собачества на протяжении веков, причем имеется в виду главным образом, прогресс науки. Наука, конечно же, прогрессирует даже с ускорением, все быстрее, но что же тут славословить? Ведь это все одно, что хвалить человека за то, что с возрастом он становится старше и вследствие того все быстрее приближается к смерти. Все это естественный и к тому же безобразный процесс, и я не вижу, за что его можно хвалить. Я вижу одно разложение, при этом я не думаю, что предшествующие поколения по природе своей были лучше, они были лишь моложе, и в этом их великое преимущество, их память не была еще так обременена, как наша, их было легче разговаривать, и даже если это никому не удалось, возможностей для этого было больше, эти большие возможности и есть, собственно, то, что нас так волнует, когда мы слышим старинные и такие наивные саги. Там и сям проходит такой глубокий намек, что мы подпрыгнули бы от изумления, не дави на нас эта тяжесть веков. Нет, как ни много я имею возразить против своего времени, прежние поколения не были лучше новых, более того, в известном смысле они были даже много хуже и слабее. Разумеется, чудеса и в ту пору не валялись под ногами на улице, но собаки еще не были тогда такими, не могу подобрать иного слова, собачными, как теперь, общая связь собак была еще неплотной, истинное слово могло еще возыметь свое действие, могло определить, переопределить создаваемое, изменить его по желанию говорящего, обратить в свою противоположность, и слово такое имелось, во всяком случае оно было близко, вертелось на языке, каждый мог к нему приобщиться; куда ж оно только подевалось сегодня, сегодня, хоть выверни потроха, его не отыщешь. Наше поколение, может быть, и потерянное, но оно невиннее тогдашнего. Нерешительность моего поколения я могу понять, да это и не нерешительность уже, а лишь забвение некоего сна, виденного тысячу ночей назад и с тех пор тысячу раз забытого, так кто же вправе гневаться на нас за то, что забывается уже в тысячу первый раз? Но и нерешительность наших праотцов я, мне кажется, также могу понять, мы на их месте, вероятнее всего, вели бы себя точно так же, и почти можно сказать: благословенны мы, что не нам пришлось взвалить вину на себя, что мы сподобились иному жребью – устремляться навстречу смерти почти в полном невинности молчании в мире, уже омраченном до нашего прихода другими. Когда заблуждались наши далекие предки, вряд ли они думали о бесконечном пути заблуждений, они были еще на распутье, им было легко в любой момент вернуться обратно, а если они все же не решались вернуться обратно, то потому, что они хотели еще какое-то время понежиться, порадоваться своей собачьей жизни; ее еще не было вовсе – истинной собачьей жизни, а уж она многим казалась ослепительной, интересно ведь было заглянуть, а как там дальше-то, ну хоть одним глазком заглянуть – вот они и шли дальше. Они не ведали того, о чем догадываемся мы, обозревая историю, того, что душа изменяется прежде, чем жизнь, и что они, еще только входя во вкус собачьей жизни, уже обладали престарелой собачьей душой и вовсе не были так далеко от своего начального истока, как им казалось или как уверял их в том упивающийся всеми прельщениями собачий глаз... Кто теперь еще говорит о молодости? А вот они-то, они были молоды, но, к сожалению, ничего другого не чаяли, как стать старыми, что, конечно, не могло им не удасться, что удалось и всем последующим поколениям, а уж нашему, последнему, в особенности.

Обо всех этих вещах я, конечно, с соседом не беседую, но частенько вспоминаю о них, когда сижу перед ним, этим типичным стариком, или зарываюсь мордой в его шерсть, на которой уже появилась легкая примесь того запаха, что присущ содраным шкурам. Толковать о подобных вещах с ним бессмысленно, как, впрочем, и с любым другим. Я ведь знаю, как протекал бы такой разговор. Он возразил бы по частностям, мелочам, а в целом в конце концов согласился бы – нет оружия лучше – и проблема была бы похоронена, зачем же снова извлекать ее из могилы. И при всем том у меня с соседом установилось полное взаимопонимание, более полное, чем то, которое достижимо словами. Я не устану это утверждать, хотя никаких доказательств на сей счет у меня нет, и я, возможно, нахожусь во власти иллюзий, так как он с давних пор единственный, с кем я обращаюсь и, стало быть, у меня есть в нем нужда. «Может, ты все же товарищ

мой, по-своему? И только стесняешься своих неудач? Взгляни, – и я таков. Когда я один, мне хочется выть, приди, вдвоем такая отрада», – так я думаю иногда, пристально глядя ему в глаза. Он в таком случае глаз не отводит, да только ничего-то в них не отражается, он лишь тупо глядит на меня, удивляясь, чего это вдруг я замолчал, прервал нашу беседу. Но, может быть, в такой взгляд облекает он свой вопрос, и я разочаровываю его точно так же, как он меня. Будь это во времена моей юности, я, если бы не занимали меня тогда казавшиеся более важными вопросы и если бы я не был удовлетворен своим одиночеством, прямо спросил бы его обо всем и, скорее всего, получил бы смутно-вялое поддакивание в ответ, то есть имел бы меньше, чем теперь, когда он молчит. Но разве не все так молчат? Что же мешает мне думать, что все кругом являются моими товарищами, что у меня имеются не отдельные соисследователи, сгинувшие и забытые со всеми их куцыми умозаключениями, отгороженные от меня тьмой времен или суетой современности, но что, напротив того, меня сплошь окружают одни мои товарищи, которые бьются над теми же вопросами, каждый по-своему, которые также при этом безуспешны, каждый по-своему, которые молчат или лукаво тараторят, каждый по-своему и в полном соответствии с тем, что требует безнадежная эта наука. Но тогда мне не следовало и обособляться, тогда я мог бы преспокойно оставаться со всеми, не вести себя точно напроказивший ребенок, которого выставляют вон взрослые, и сами желавшие бы выйти, но запутавшиеся в сетях своего разума, который утверждает, что выхода нет и что всякое стремление к нему нелепо.

Уже и самые эти мысли указывают на очевидное воздействие моего соседа, это он сбивает меня с толку, навеивает меланхолию, а сам-то и в ус не дует, все насвистывает среди дел, как я слышу, и напевает, так что даже мне надоел. Хорошо бы прервать и это, последнее знакомство, не поддаваться больше расплывчатым мечтаниям, которые неизбежно, как с ними ни борись, порождают всякое собачье общение, хорошо бы целиком посвятить исследованиям то небольшое время, которое еще мне осталось. Затаюсь-ка я, как он в другой раз придет, и притворюсь спящим, и буду проделывать это до тех пор, пока он не отстанет.

Да и в исследованиях моих возник непорядок, я заметно запустил их, утомился, ковыляю по привычке там, где прежде вдохновенно мчал. Часто вспоминается мне то время, когда я начал исследование вопроса: «Откуда земля берет нашу пищу?». Конечно, я толкался тогда среди людей, лез в самую гущу, всех хотел сделать свидетелями моих трудов, и это свидетельство мне было даже дороже самих этих трудов; поскольку я ожидал от них какого-то влияния на мир, то и был преисполнен пыла, давно утраченного в моем одиночестве. Тогда же я чувствовал в себе такие силы, что дерзал свершать неслыханные поступки, которые противоречат всем нашим скрижалям и о которых свидетели до сих пор вспоминают с содроганием. Я, например, находил, что наука, вообще-то тяготеющая к специализации, в одном аспекте довольствуется примечательным упрощением. Она учит, что нашу пищу производит земля, и после одной предпосылки знакомит с методами добычи разнообразных яств в их преизобилии. Но хотя это и верно, что пищу производит земля, в чем не приходится сомневаться, но дело вовсе не обстоит так просто, как это обычно изображается, что ставит препятствия дальнейшим изысканиям. Взять хотя бы простейшие случаи из повседневной практики. Если мы даже впадаем в полное почти бездействие, как я в настоящее время, и, ограничившись самой поверхностной обработкой земли, сворачиваемся калачиком и ждем результатов, то и в этом случае мы, если, конечно, к тому есть хоть какие-нибудь основания, обретаем земную пищу. Но ведь это вовсе не правило. Кто сохранил в себе хоть немного непосредственного чувства, занимаясь наукой, – а таких, разумеется, единицы, ибо наука втягивает в свою сферу все большие круги, – легко признает, исходя даже из самых привычных наблюдений, что основная часть пищи, обретаемой на поверхности земли, падает на нее сверху, мы даже норовим подхватить ее на лету, насколько это позволяет нам наша ловкость и страсть. Тем самым я еще не противоречу науке, ведь и эту пищу производит, разумеется, земля. А то, что одну пищу она, так сказать, извлекает из самой себя, а другую бросает сверху, не составляет, возможно, существенной разницы, и наука, установившая, что в обоих случаях потребна обработка земли, может быть, и не должна заниматься такими различиями, ибо сказано: «Набил чрево – гуляй смело». Однако ж наука, по моему разумению, все-таки занимается, пусть косвенно и отчасти, подобными различиями, утверждая существование двух основных методов продовольственного обеспечения, а именно: собственно обработки земли и дополнительных, изысканных форм труда вроде декламации, танца и пения. Я нахожу в этом хоть и не полное, но достаточно отчетливое соответствие моему различению двух типов труда. Обработка земли, как мне представляется, служит средством обретения пищи двоякого рода, что же касается декламации, танца и пения, то они не относятся к обработке земли непосредственно, а предназначены, главным образом, для того, чтобы добывать пищу сверху. Эти мои представления основаны на традиции. Здесь, думается, народ вполне сумел обуздать науку, не отдавая себе в том отчета и не давая ей возможности сопротивляться. Если бы упомянутые церемонии служили, как того хочет наука, только земле, например чтобы укрепить ее силы и способности добывать пищу сверху, то они, как естественно было бы предположить, должны были бы полностью осуществляться на самой земле – к ней должны были бы быть обращены заклинания, прыжки, пируэты. Собственно, наука-то, насколько я себе представляю, и не требует ничего другого. Но вот вам странность – народ обращает все свои церемонии кверху. При этом он не оскорбляет науку, ведь она не запрещает этого, доставляя земледельцу его свободу, но она целиком поглощена землей, и если земледelec применяет к земле добытые ею познания, то она бывает довольна, хотя, по моему убеждению, ее мысль должна была бы простираться и дальше. И вот, я не облеченный никаким ученым саном, никак не могу взять в толк, почему же наши ученые допускают, что наш народ со всею свойственной ему страстью обращает свои заклинания к небу и к небу возносит наши старинные обрядовые песнопения и так рьяно совершает кверху свои прыжки, будто хочет вовсе расстаться с землей. Вот я и заострил свое внимание на этом противоречии. И в те поры, когда, по науке, приближалась урожайная страда, я полностью сосредоточивался на земле, я стелился по ней в танце, изворачивался, как мог, только бы быть к ней поближе. Со временем я вырыл в ней ямку и, погрузив в нее морду, пел и декламировал так, что меня могла слышать только земля и никто другой рядом со мной или надо мной.

Исследовательские плоды были скудны. Иной раз я не получал никакой пищи, но едва я собирался ликовать по поводу своего открытия, как еда всякий раз все же являлась, и все это походило на то, будто странное поведение мое поначалу вызывало недоумение, но затем в нем находили свои преимущества и прощали мне недостающие прыжки и крики. Зачастую еда была даже обильнее, чем раньше, зато потом она вовсе пропадала на долгое время. С доселе не свойственным юным собакам усердием я пытался систематизировать все свои опыты, порой мне даже казалось, что я нацупал какую-то нить, что она вот-вот поведет меня дальше, но она всякий раз обрывалась и ускользала. Бесспорной помехой при этом послужила и моя недостаточная научная подготовка. Когда мне ругались, что отсутствие еды есть следствие не моего эксперимента, но ненаучной обработки земли, и это подтверждалось, то все мои построения рассыпались в прах. При известных условиях я мог бы представить и почти точный эксперимент – в том случае, если бы мне удалось, не прибегая к обработке земли, сначала достичь еды посредством направленной вверх церемонии, а затем вызвать ее отсутствие рядом с церемонией, обращенной исключительно к земле. Я проделывал и подобные опыты, однако без веры в успех и без соблюдения всех необходимых условий, ибо никто не в состоянии поколебать мое твердое убеждение в том, что хотя бы минимальная обработка земли необходима всегда, и если бы даже еретики, которые в это не верят, оказались, паче чаяния, правы, то и в том случае доказать ничего невозможно, поскольку орошение земли происходит под известным напором и в каком-то смысле избежать его невозможно. А вот другой

правда, несколько побочных эксперимент удался даже больше и обратил на себя внимание. Вслед за испытанной методой – ловить еду в воздухе, я прибегнул к еще одному способу – прыгать за едой, но ловить ее в воздухе, давать ей падать. С этой целью я всякий раз, когда пища падала сверху, делал навстречу ей небольшой бросок, рассчитанный, однако, таким образом, чтобы до пищи не дотянуться; чаще всего она тогда просто брякалась равнодушно и тупо на землю, и я с яростью набрасывался на нее, с яростью, вызванной не только голодом, но и разочарованием. Но в отдельных случаях происходило и нечто другое, нечто удивительное – пища не просто падала, а как бы сопровождала меня в полете, еда преследовала едока. Это длилось недолго, всего несколько мгновений, после чего она все же падала или куда-то исчезала, или – чаще всего – моя алчность прекращала эксперимент до времени и я пожирал продукт. Тем не менее я бывал счастлив, кругом шептались, будоражились, мне уже внимали, знакомые клонили ухо к моим вопросам уже охотнее, в их глазах загорался огонек надежды, и пусть даже то было лишь отражением моих собственных взоров, ничего другого мне не было нужно, я был доволен. Пока в один прекрасный день я не узнал – и другие узнали это вместе со мной – что этот эксперимент давно уже описан в науке, что он в свое время увенчался куда большим успехом, чем мой, и что хотя он давно уже не повторялся из-за трудностей, предъявляемых к самообладанию, но вследствие весьма вероятной своей незначительности для науки и не нуждался в повторении. Он доказывает лишь то, что и так давно было известно, а именно – что земля получает пищу сверху не только по прямой, но и по косой и даже по спирали. Вот в каком я оказался положении, но духом не пал, для этого я был еще слишком молод; напротив, меня это раззадорило и побудило к величайшему, может быть, деянию всей моей жизни. Я не верил в научное низвержение моего эксперимента, но здесь решает не вера, а доказательство, и вот их-то и вознамерился я добыть и тем самым бросить новый свет на эксперимент, изначально бывший побочным, решив поставить его в центр исследования. Хотелось доказать, что в тот момент, когда я в прыжке уклонялся от еды, я был для нее большим магнитом, чем земля, на которую она падала под косым углом. Правда, я не мог оснащать эксперимент все новыми пробами, ибо предаваться научным экспериментам, имея под самым носом жратву, – такое, знаете ли, никто долго не выдержит. Но я хотел сделать нечто другое, я хотел добиться полного воздержания от еды, насколько это могло мне удастся. Правда, при этом я, избегая соблазна, не позволял себе смотреть на еду. Я удалялся, забивался подальше, лежал там день и ночь с закрытыми глазами и все равно мне было – ловить ли еду в воздухе, подбирать ли ее на земле, потому что я не делал ни того, ни другого, будучи не то чтобы уверен, но все же преисполнен тихой надежды, что еда и без всяких особых усилий, в ответ лишь на неизбежное и произвольное орошение земли да тихое исполнение заклинаний и песен (от танцев я отказался, чтобы не ослаблять себя) сама свалится сверху и, минуя землю, постучится в мою пасть, – чтобы впустили ее, – если бы такое случилось, то это еще не было бы, конечно, опровержением науки, ибо наука достаточно гибка и допускает немало частных случаев и исключений, но что бы в таком случае сказал народ, по счастью, не настолько же гибкий? Ведь то не был бы какой-нибудь исключительный случай вроде известных нам из истории, когда в силу телесной ли хвори, душевного ли помрачения кто-либо отказывался готовить, искать, принимать пищу, и тогда собачья община, соединив свои усилия на основе магических ритуалов, препровождала ее окольным путем ему прямо в пасть. Я же пребывал в полной силе и здравии, аппетит мой был столь могуч, что по целым дням не позволял мне думать ни о чем ином, как о нем, я подверг себя посту, верите вы или нет, добровольно, я был в состоянии позаботиться о том, чтобы еда низвергалась на меня сверху, и я желал этого и не нуждался ни в чьей помощи и самым решительным образом ее отклонял.

Я отыскивал себе укромное местечко в каких-нибудь отдаленных кустах, куда бы не долетали до меня ни разговоры о еде, ни чавканье, ни похрустывание разгрызаемых костей и, наевшись напоследок до отвала, залегал там. Глаза я намерен был держать все время закрытыми; покуда не придет еда, да будет непрерывная ночь для меня, пусть проходят дни и недели. При этом, однако, что значительно усложняло мне жизнь, я запрещал себе спать или позволял спать очень немного, ибо я должен был не только призывать еду денно и ночью, но и постоянно быть готовым к ее явлению, хотя, с другой стороны, сон был вещь желательной, ибо с ним я мог бы голодать значительно дольше, чем без него. Исходя из этих соображений, я решил аккуратно поделить бремя на отрезки и спать часто, но всякий раз короткое время. Я достигал этого благодаря тому, что, отходя ко сну, укладывал голову на слабенькую ветку, и она вскоре ломалась и тем самым будила меня. Так я и лежал – спал или бодрствовал, мечтал или что-нибудь тихонько напевал про себя. Первое время прошло впустую, видимо, там, откуда происходит еда, осталось как-то незамеченным, что я выломился из обычного порядка вещей, и все было тихо. Меня несколько беспокоило опасение, что собаки обнаружат мое отсутствие и затеют что-нибудь против меня. Другим опасением было то, что земля, хоть и была согласно науке, неплодородна, под воздействием нехитрого орошения произведет какой-нибудь так называемый случайный продукт, запах которого меня соблазнит. Но пока ничего подобного не происходило и я мог продолжать голодовку. В целом, если не считать этих опасений, я поначалу сохранял спокойствие, какого во мне еще не замечали. Хотя я, по сути дела, трудился здесь над упразднением науки, меня охватило чувство удовлетворения и легендарное спокойствие научного работника. В мечтах своих я уже добился от науки прощения, отыскал в ней местечко и для своих исследований; как музыка уши, ласкала меня мысль о том, что я, пусть даже исследования мои не увенчаются успехом, и тогда-то прежде всего не буду вовсе потерян для собачьей жизни, а благосклонная ко мне наука сама примется истолковывать добытые мной результаты, а уже одно это явится триумфом и я, горько угрызавшийся доселе своей отверженностью и дико ярившийся на препоны, в коих протекает жизнь моего народа, буду принят со славой, меня обомьет прельстительный, как теплый омут, клубок сплоченных собачьих тел и, вознесенный, я буду качиваться на вздетых холмах моего народа. Странное действие первого глаза. Свершения мои показались мне столь огромными, что я от расстроганности и жалости к себе даже заплакал в своем укромном углу, что, по правде сказать, не совсем было понятно, ибо если я ожидал заслуженной награды, то отчего же я плакал? Видимо, исключительно от приятности. Я ведь и плакал-то только когда на душе у меня бывало приятно, что случалось нечасто. Но прошло это весьма быстро. Радужные представления постепенно сплелись с нарастающим чувством голода, и вот не успел я оглянуться, как всякая трогательность улетучилась куда-то вместе с фантазиями, и я остался наедине с голодом, прожигающим нутро. «Это голод», – повторял я себе бесчестное количество раз, точно пытаюсь уверить себя в том, что голод и я – это два разных существа и могу стряхнуть его с себя, как стряхивает собака докучного любовника, но в действительности мы уже слились в одно нерасторжимо болезненное целое, и когда я говорил: «Это голод», то ведь это не я, собственно, а сам голод говорил, смеясь надо мной. Ужасное, ужасное время! Вспоминаю о нем с содроганием, и даже не из-за пережитых в то время страданий, а из-за того, что мне не удалось извлечь из них достаточные уроки, что мне пришлось бы снова испытывать все эти страдания, упиться ими, если я поставлю перед собой достойную цель, ибо голод я и поныне считаю основным и последним предметом своих исследований. Голод – вот суть, высшие цели, если они вообще достижимы, требуют и высших усилий, а у нас такой высшей целью может быть только добровольное голодание. Так что, обмозговывая те времена – а я люблю это занятие до страсти, – я обмозговываю заодно времена, которые мне грозят. Похоже, целью жизни мало, чтобы оправиться от таких потрясений – вся моя зрелая мужская жизнь пролегла между теперешним состоянием и тем голодом, но я не оправился от него до сих пор. Впредь, если я начну голодовку, я вступлю в нее, может быть, с большей решимостью, чем тогда, ибо теперь я опытнее и лучше осознаю необходимость такого опыта, однако сил у меня стало меньше еще с тех пор, и уже одно только ожидание мне известных мучений

совершенно меня обескровит. Ослабевший с тех пор аппетит мне не поможет, он лишь слегка обесценит опыт да еще принудит меня, пожалуй, голодать дольше, чем требуется. Таким образом, условия эксперимента не являются для меня загадкой, предварительных опытов за истекшее время тоже хватало, ведь временами голод грыз меня нещадно, хотя на крайность я так и не отважился – что ни говори, а юношеский безоглядный безудерж уже, конечно, иссяк. Он кончился тогда еще, во время голодания. Многие размышления меня измучили. Грозными показались мне наши праотцы. Я хоть и считаю их виновными во всем – о чем, правда, не осмеливаюсь говорить публично, – они взвалили на собачью жизнь бремя вины, и на их угрозы у меня легко нашлось бы что возразить, но перед их знанием я склоняюсь, оно питалось источниками, коих мы больше не ведаем, а посему установленные ими законы я никогда не преступлю, как ни подмывает меня подчас восстать против них, нет, мои вождения ограничиваются лишь лакунами в законе, на которые, признаюсь, у меня особый нюх. Что до голодания, то позволю себе сослаться на достопамятный разговор, в ходе которого один из наших мудрецов выказал намерение запретить голодание, на что другой возразил, говоря: «Да кто же и без того станет когда-нибудь голодать?», и тем вопросом переубедил первого, воздержавшегося от запрещения. Но тут снова возникает вопрос: «А не запрещено ли, собственно, голодание?». Подавляющее большинство комментаторов отвечает на этот вопрос отрицательно, считает голодание общедоступным, придерживается мнения второго из мудрецов и поэтому не опасается дурных последствий ошибочного комментирования. И я успешно уверял себя в том же, покада не приступил к голоданию. А уж как оно порядком меня скрутило и я уже в некотором забытьи искал спасения в задних лапах, которые в отчаянии то лизал, то жевал, то сосал, добираясь до самого зада, то привычное толкование знаменитого диалога показало мне сугубо неверным, и я горько клял комментаторскую науку, клял себя, давшего сбить себя с панталыку, ведь в том разговоре, что и ценку понятно, содержалось запрещение голодания – не однократное, а на вечные времена: первый мудрец хотел запретить голодание, а чего хочет мудрец, то, считай, произошло, второй же мудрец не только согласился с ним, но и высказал мысль, что голодание вообще невозможно, то есть нагромоздил, по сути, на первое запрещение еще и второе, как бы запрещение, вытекающее из самой собачьей природы; первый признал это и воздержался от запрещения, то бишь препоручил собакам самим запретить себе голодание, проделав то же тонкий мыслительный ход. И так, перед нами троекратный, а не просто запрет – и я нарушил его. Теперь бы мне, пусть с запозданием, но повиноваться и прекратить голодовку, но сквозь всю боль действовало искушение продолжать ее, и я сладострастно отдался этому искушению, как незнакомой собачке. Я не мог остановиться, может, слишком ослаб, чтобы встать и искать спасения в обитаемых пределах. Уснуть я больше не мог, все ерзал на сухой травяной подстилке, прислушивался к наступавшему на меня со всех сторон шуму – казалось, что мир, остававшийся прежде, когда я спал, безмолвным, теперь из-за моего бдения тоже проснулся, и в сознании моем вспыхнуло представление о том, что мне уже не суждено насытиться, потому что, если б это случилось, освобожденные звуки погрузились бы снова в молчание, а на то, чтобы достичь этого, у меня уже не было сил. Однако самые ужасные звуки раздавались в моем животе, я часто прикивал к нему ухом, и глаза лезли у меня на лоб от того, что я там слышал. Дело приняло столь скверный оборот, что помутилось, казалось, все мое существо, охваченное бессмысленными метаниями, мне стал мерещиться запах изысканных кушаний, которых я давно уже не едал; вдруг всплыли радостные ощущения детства – вплоть до нежного аромата сосков моей матери; я забыл о своем решении давать отпор запахам или, вернее, я не забыл его, я таскал его за собою, как хвост, совершая короткие вылазки в разные стороны, – в поисках еды, конечно, но словно бы только для того, чтобы испытать свою крепость. То, что я ничего не находил, меня не обескураживало, я чувствовал, что еда здесь, поблизости, и что лишь подкашивающиеся лапы меня подводят. И в то же время я понимал, что ничего на самом деле и нет и что я совершаю эти суетливые движения только из-за того, что боюсь окончательно развалиться, если буду сохранять неподвижность. Таяли последние надежды, как и последние утехи тщеславия; думалось, загнусь здесь ни за что ни про что, какие там исследования, детские шалости по-детски резвой поры, а вот здесь и теперь дело обстоит серьезно, здесь наука могла бы доказать свою ценность, но где ж она тут? Ничего и нет, кроме жалкого пса, хватающего пастью пустой воздух; судорожно и безотчетно он еще орошает то и дело местность, но в памяти своей уже не может наскрести ни единого заклинания, из всей сокровищницы не осталось даже стишка, с каким новорожденные ныряют под свою мать. У меня было чувство, что я нахожусь вовсе не на расстоянии короткой перебежки от своих братьев, а бесконечно далеко от всех, и что гибну я, собственно, не от голода, а от покинутости. Стало очевидно, что никто во всем свете обо мне не заботится, ни под землей, ни на земле, ни над землей, я погибал от равнодушия небес, которое глаголило: он гибнет, да будет так. И разве я с этим не соглашался? Разве не повторял того же? Разве не стремился я к этой оставленности? Все так, о собаки, но ведь не для того, чтобы издохнуть, а чтобы обрести истину, прорваться к ней из этого лживого мира, где нет никого, от кого можно узнать истину, нельзя ее узнать и от меня, уроженца лжи. Возможно, истина и не была столь далеко, а я, следовательно, столь покинут, как я тогда думал, а если и покинут, то не другими, а самим собой, и вот несостоятельность моя ведет меня к гибели.

Смерть, однако, не столь поспешна, как это мнится нервному псу. Я лишь упал в обморок, а когда очнулся и открыл глаза, передо мной стояла незнакомая собака. Я не испытывал больше голода, мышцы мои, как я чувствовал, налились силой, хотя я не делал попытки встать. Собственно, ничего особенного перед собой я не видел, стоит красивая, но не слишком необыкновенная собака, вот и все, что я видел, и все-таки мне казалось, что я вижу перед собой больше обычного. Подо мной была кровь, в первое мгновение мне показалось, что это еда, но сразу затем я понял, что это кровь, которой я харкал. Я отвернулся от нее и обратился к незнакомой собаке. Она была тощей, на высоких ногах, коричневой, в белых пятнах и с преприятным, испытующим и волевым взглядом. «Что ты здесь делаешь? – спросила она. – Тебе нужно отсюда уйти». – «Я не могу уйти», – сказал я, не давая дальнейших разъяснений, ибо не знал, как ей все объяснить, к тому же она явно торопилась. «Пожалуйста, уйди», – проговорила она, беспокойно переминаясь. «Оставь меня, – сказал я, – ступай и не беспокойся обо мне, ведь никто обо мне не беспокоится». – «Я прошу тебя ради тебя самого», – сказала она. «Из-за чего бы ты меня ни просила, – сказал я, – но я не могу уйти, даже если бы хотел». – «Тебе ничто не мешает это сделать, – сказала она с улыбкой. – Ты можешь ходить. Именно потому, что ты кажешься слишком слабым, я прошу тебя потихонечку удалиться, а если промедлишь, тебе потом придется бежать». – «Это уж моя забота», – сказал я. «Но и моя», – сказала она, явно огорчаясь моему упрямству и в то же время как будто соглашаясь на то, чтобы оставить меня там, где я был, и даже воспользоваться моим положением для кокетливого сближения. В другое время я бы не прочь был сблизиться с такой красоткой, но в тот момент, уж не знаю почему, меня объял ужас. «Прочь!» – вскричал я, прибегая к громкости вопля как к единственному своему оружию. «Да я и не трогаю тебя, – сказала она, медленно отступая. – А ты милый. Я тебе что, не нравлюсь?» – «Ты мне очень нравишься, если уйдешь и оставишь меня в покое», – сказал я, однако вовсе без той уверенности в душе, какую старался ей показать. Что-то такое улавливал в ней мой обостренный страданиями нюх, что-то в самом начале еще, что нарастало и приближалось и давало понять: эта собака в состоянии тебя увести, хотя ты и представить не можешь себе, как бы ты смог подняться. И я со все большим томлением смотрел на нее, лишь кротко склонившую головку в ответ на мою грубость. «Кто ты?» – спросил я. «Охотница», – ответила она. «А почему ты не хочешь, чтобы я оставался здесь?» – спросил я. «Ты мне мешаешь, – сказала она, – я не могу охотиться при тебе». – «А ты попробуй, – сказал я, – может быть, тебе все же удастся». – «Нет, – сказала она, – мне очень жаль, но тебе придется уйти». – «Пропусти сегодня охоту!» – попросил я. «Нет, –

сказала она, – я должна охотиться». – «Я должен уйти, ты должна охотиться, – сказал я, – все все должны. Ты хоть понимаешь, отчего мы все время что-нибудь должны?» – «Нет, – сказала она, – да это и не нужно понимать, все это естественно и само собой разумеется». – «Не совсем, – сказал я, – ведь тебе жаль, что ты должна прогонять меня, а ты все-таки прогоняешь». – «Так и есть», – сказала она. «Так и есть, – сердито повторил я, – это не ответ. Отчего тебе легче отказаться – от охоты или от того, чтобы прогонять меня?» – «От охоты», – ответила она без колебаний. «Ну вот видишь, – сказал я, – ведь это противоречие». – «В чем же противоречие, малыш, – сказала она, – ты что, действительно не понимаешь, что я должна? Ты что, не понимаешь самого очевидного». Я не стал больше ничего отвечать, потому что заметил – с содроганием невольного пробуждения к новой жизни, – по каким-то неуловимым деталям заметил, как в глубине груди ее зарождается песнь. «Ты будешь петь», – сказал я. «Да, – серьезно ответила она, – я буду петь, скоро, но не сейчас. Но ты приготовься». – «Я уже слышу, как ты поешь, хотя ты и говоришь, что еще не начинала», – сказал я, задрожав. Она промолчала. И мне вдруг почудилось, что я постиг нечто такое, чего до меня не знала ни одна собака, во всяком случае, ни малейших следов чего не найти ни в каких преданиях, и я в бесконечном ужасе и стыде спрятал морду свою в луже крови передо мной. А постиг я, что собака может запеть прежде, чем сама знает об этом, более того, что мелодия, отделившись от нее, парит в воздухе по собственным законам, будто нет ей дела до породившей ее собаки и обращена она только ко мне, ко мне... Теперь-то я отвергаю, конечно, все подобные заключения и приписываю их своей тогдашней сверхвозбужденности, но, даром что этот вывод оказался заблуждением, в нем есть известное величие, он – то единственное, что вынес я для этого мира из голодной своей поры, и он по меньшей мере показывает, как далеко мы можем продвинуться, стоит нам только полностью отказать от самих себя. А я и на самом деле от себя полностью отказался. При обычных обстоятельствах я бы тяжело заболел, утратив всякую способность даже шевелиться, но не смог бы сопротивляться мелодии, которую собака уже готова была, кажется посчитать своей собственной. Она становилась все громче, ее нарастание, кажется, ничем не сдерживалось и она уже почти разрывала мне перепонки. Самое же скверное заключалось, лишь для меня одного; перед величием его умолк лес, и только я его слышал, только я; да кто же я такой, что смею все еще оставаться здесь, простираясь в своих страданиях и своей крови? И вот, качаясь, я встал, оглядел себя – и не успел подумать, что с таким видом не побежишь, как уже мчался самым великолепным галопом, гонимый мелодией. Другим своим я не стал ничего рассказывать, то есть при первой-то встрече я и мог бы еще рассказать, но тогда у меня не было сил, а потом уже я не знал, как подступиться. Намеки же, от которых я не смог удержаться, растекались по разным беседам бесследно. Телесно, надо сказать, я восстановился уже через несколько часов, душевно – не могу опомниться до сих пор.

Что же до моих исследований, то я переместил их в область музыкальной жизни собак. Разумеется, наука и в этой области не дремала, наука о музыке, быть может, еще обширнее, чем наука о пище, и уж во всяком случае фундаментальнее. Объясняется это тем, что в этой области можно трудиться с большей отдачей, поскольку речь тут идет не столько о практической пользе, сколько о чистых наблюдениях и систематизации. С этим и связано то, что музыковедение пользуется большим уважением, чем естествознание, хотя и не в состоянии так же глубоко проникнуть в самую толщу народа. Я и сам был дальше от музыковедения, чем от любой другой науки, покада не услышал тот голос в лесу. Правда, тот памятный случай с нами, музыкантами, был мне уже некоторым указанием, но тогда я был еще слишком мал. Да и не так-то просто даже приблизиться к этой науке, она считается особенно трудной. И по благородству своему толпе недоступна. Кроме того, музыка, которую производили псы-музыканты, хотя и была тем, что прежде всего поражало в их компании, но еще большее впечатление оставляла их замкнутость, вытекавшая из самого собачьего естества, и если впоследствии аналогов их ужасной музыке я нигде больше не находил, то что-то от этой замкнутости мне с тех пор мерещилось в каждой собаке. Для постижения же собачьей сути самой подходящей, идущей кратчайшим путем к цели, мне представлялась наука о пище. Может, я был не прав. Как бы там ни было, но уже и в ту пору мое настороженное внимание привлек к себе стык двух наук – учение о взыскующем пищи песнопении. И опять мне здесь очень мешает то, что я не смог сколько-нибудь серьезно вникнуть и в музыковедение, и не могу себя причислить даже к кругу полубразованных, которых особенно презирает наука. С этим мне жить. И самое легкое научное испытание – увы, у меня есть тому доказательства – обернулось бы для меня провалом. Причину, если отвлечься от уже упомянутых жизненных обстоятельств, следует искать прежде всего в моей неспособности к научной работе, весьма ограниченной способности суждения, плохой памяти и, главное, в том, что я не в состоянии постоянно держать научную цель перед глазами. Во всем этом я признаюсь себе откровенно, даже с известной радостью. Ибо корни моей научной несостоятельности заложены, как мне представляется, в инстинкте, и весьма недурном инстинкте. Хвастовства ради я мог бы сказать, что как раз этот инстинкт разрушил мои ученые способности, ибо слишком было бы странно и невероятно, чтобы некто, вполне сносно разбирающийся в обыденных житейских обстоятельствах, что отнюдь не просто, и даже понимающий язык, в чем нетрудно убедиться, если не самой науки, то по крайней мере ученых, чтобы этот некто не смог воздвигнуть лапу свою даже на нижнюю ступень науки. Это инстинкт – может быть, как раз ради науки, но не той, что процветает сегодня, а другой, окончательной и последней науки – заставил меня ценить свободу превыше всего. Свобода! Слов нет, свобода, возможная в наши дни, растеньице чахлое. Но какая ни есть, а свобода, какое ни есть, а достояние...